

АЛАН СИДЛИТОВ

АЛАН СИЛЛИТОУ



**ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ**



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
С36

Серия «Чак Паланик и его бойцовский клуб»

Alan Sillitoe
THE LONELINESS OF THE LONG DISTANCE RUNNER

Перевод с английского *С. Алукард*

Серийное оформление и компьютерный
дизайн *В. Половцева*

Печатается с разрешения The Estate of Alan Sillitoe
и литературных агентств Rogers, Coleridge & White Ltd
и Andrew Nurnberg.

Силлитое, Алан.

С36 Одиночество бегуна на длинные дистанции : [сборник] / Алан Силлитое ; [пер. с англ. С. Алукард]. — Москва : Издательство АСТ, 2016. — 224 с. — (Чак Паланик и его бойцовский клуб).

ISBN 978-5-17-092793-7

Молодежь из рабочих пригородов.

Парни и девчонки, которых кто-то называет «гопотой из подворотни» и от которых многие стараются держаться подальше.

Необразованные. Грубоватые. Обозленные на весь белый свет — и прежде всего на общество, лишившее их будущего просто из-за «низкого происхождения». Несправедливость они чувствуют безошибочно и готовы противостоять ей с отчаянием диких животных.

Слабые ломаются, уходят в мир алкоголя, случайного секса, бессмысленной агрессии. Но есть и сильные — они готовы к беспощадному и яростному, заведомо обреченному на поражение бунту.

**УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44**

© Alan Sillitoe, 1959
Copyright renewed 1987 by Alan Sillitoe
© Издание на русском языке AST
Publishers, 2016

ISBN 978-5-17-092793-7

Одиночество бегуна на длинные дистанции

1

Как только я попал в борстальскую колонию для несовершеннолетних, из меня сделали бегуна на длинные дистанции. Похоже, они думали, что я как раз для этого гожусь, потому что тогда я был высоким и тощим (каким и остался). В любом случае я не очень-то возражал, если честно, поскольку бег всегда ценился у нас в семье, особенно бег от полиции. А я всегда хорошо бегал, быстро и размашисто, но только вот беда: как бы быстро я ни бежал, а скорость я набирал немалую, это не помогло мне улизнуть от легавых после того, как я взял булочную.

Вы, наверное, подумаете, что тут что-то не так: бегуны на длинные дистанции в исправительном заведении. Вам покажется, что как только такого бегуна выпустят на вольные хлеба, он сразу же захочет удрать и как можно дальше от этого места, так далеко, насколько сможет уйти на запасе казенных харчей. Но вы ошибаетесь — и я скажу, почему. Во-первых, те уроды, что нас там держат, вовсе не такие дураки, какими кажутся почти всегда. Во-вторых, я не такой идиот,

каким могу показаться, чтобы попытаться сбежать во время тренировки, потому как слинять, а потом по-пасться — дело неблагодарное, и я на это не поведусь. Главное в этой жизни — обмануть, и даже это надо уметь делать по-хитрому. Я вам так скажу: они врут, и я тоже вру. Если бы у «них» и у «нас» мысли совпадали, мы бы жили душа в душу, но у нас нет общего языка с ними. Вот так оно есть, и так оно всегда будет. Штука в том, что все мы врем, и поэтому все мы друг друга не жалуем. Так что они знают, что я не попытаюсь сли-нять: они сидят себе, как пауки на осыпающихся сте-нах родового имения, как галки, взгромоздившиеся на крышу, наблюдающие за тропинками и полями, как немецкие генералы из танковых люков. И даже ког-да я мерно бегу за леском, и они меня не видят, они знают, что через час моя стриженная голова покажет-ся за живой изгородью и я доложусь типу, стоящему на воротах. Потому что когда промозглым морозным утром я поднимаюсь в пять утра и встаю на каменный пол, отчего у меня холодом кишки сводит, а остальные могут еще час дрыхнуть до звонка, проскальзываю по коридорам вниз к большой входной двери с зажатым в кулаке пропуском, я чувствую себя одновременно первым и последним человеком на Земле, если толь-ко вы понимаете, что я хочу сказать. Первым челове-ком потому, что меня выгоняют в замерзшее поле в майке и трусах, почти в чем мать родила. А ведь тот чертов первопроходец, выброшенный на землю по-среди зимы, знал, как соорудить себе одежонку из

Одиночество бегуна на длинные дистанции

листьев или скроить пальтишко из перьев птеродактиля. И вот стою я, окоченевши от холода, ни крошки не евши. Ведь даже кусочка хлеба с какой-нибудь бурдой не дадут, а согреться можно, только побегав пару часов перед завтраком. Меня дрессируют перед большими соревнованиями, когда слетаются дамы и господа с поросячьими рожами и сопливыми носами, не способные сложить два и два и надрывающиеся от злости, как психи, если вокруг не бегают рабы. Они начинают толкать нам речи о спорте, который приведет нас к праведной жизни, и мы перестанем тянуть шаловливые руки к замкам магазинов, ручкам сейфов и шпилькам, которыми вскрывают газовые счетчики. Они вручают нам кусок синей ленты и призовой кубок после того, как мы до упаду бегали и прыгали, как скаковые лошади. Вот только штука вся в том, что обращаются с нами не так, как со скакунами.

Ну вот, стою я у ворот в майке и трусах, во рту ни маковой росинки, и смотрю на замерзшие цветы. Думаете, я расплачусь? Да ни за что! Не зареву я только оттого, что чувствую себя первым человеком на Земле. Да мне в сто раз лучше, чем когда я лежу в кровати, как и триста остальных ребят. Нет, иногда мне невесело, когда я стою там и чувствую себя последним человеком на Земле. Последним потому, что мне кажется, что триста остальных парней умерли. Они спят так крепко, что, кажется, они ночью откинули копыта, а выжил я один. И когда я гляжу на кусты и замерзшие лужицы, у меня такое чувство, что будет холодать до

тех пор, пока все, что я вижу, даже мои покрасневшие руки, не покроется толстым слоем льда — вся земля до самого неба, все моря и океаны. Так что я пытаюсь гнать прочь эти чувства и вести себя так, будто я первый человек на Земле. И мне от этого хорошо, и когда я разогреваюсь от этой мысли, я вылетаю из двери и пускаюсь бежать.

Я в Эссексе. Говорят, это неплохая колония для несовершеннолетних. По крайней мере, так мне сказал ее начальник, когда я попал сюда из Ноттингема.

— Мы хотим доверять тебе, пока ты находишься в этом заведении, — сказал он, разглаживая газету белыми ухоженными руками, пока я читал написанные вверх ногами большие буквы ее названия: «Дейли Телеграф». — Если будешь по-честному играть с нами, мы станем честно играть с тобой. (Честное слово, можно подумать, что мы тут в теннис играть собрались.) Тебе нужно много и честно трудиться и стать хорошим спортсменом, — добавил он. — И если ты выполнишь оба условия, можешь не сомневаться: мы поступим с тобой по справедливости, и ты выйдешь на свободу честным человеком.

Ну, я чуть не умер со смеху, особенно когда сразу же после этих слов услышал, как старшина рывкнул мне и двум другим парням «смирно!», а потом увел нас строевым шагом, как будто мы гренадеры. А когда начальник все пел мне про то, что «мы» хотим, чтобы ты делал то-то и то-то, я оглядывался по сторонам

и высматривал, сколько же их, этих «мы». Я конечно же знал, что «их» многие тысячи, но в комнате видел только одного. А «их» точно тысячи по всей этой гребаной стране. В магазинах, конторах, на вокзалах, в машинах, домах, пабах — «правильных» парней вроде вас и их, высматривающих «неправильных» парней вроде меня и «нас» и выжидающих момент, чтобы позвонить легавым, как только мы сделаем неверный шаг. И так будет всегда, говорю я вам, потому что я еще не перестал делать неверные шаги, и добавлю, что не перестану их делать, пока не отброшу копыта. И если «правильные» надеются, что смогут уберечь меня от неверных шагов, то попусту теряют время. С таким же успехом можно поставить меня к стенке и расстрелять. Только так можно остановить меня и несколько миллионов других ребят. И это потому, что я много думал с того дня, как попал сюда. Они могут дни напролет следить за нами, чтобы знать, вкалываем ли мы как проклятые, надрываемся ли мы или занимаемся этим «спортом», но они не могут просветить нам мозги рентгеном, чтобы узнать, о чем мы думаем. Я задавал себе кучу вопросов и прокручивал в башке всю свою жизнь. И мне это нравится. Классное занятие. Это помогает убить время и делает колонию не таким уж плохим заведением, каким его расписывали ребята с нашей улицы. А лучше всего — забеги на длинные дистанции с первым лучом солнца, потому что во время бега думаешь и понимаешь все гораздо лучше, чем лежа ночью в кровати. К тому

же думая на бегу, я делаюсь одним из лучших бегунов в колонии. Я пробегаю круг в пять миль быстрее всех, кого знаю.

Как только я говорю себе, что я — первый человек, попавший в этот мир, и как только я делаю первый прыжок на заиндевевшую траву ранним утром, когда еще даже птицы не решаются петь, я начинаю думать, и мне это нравится. Я наматываю круги, как во сне, сворачивая по дорожке или по тропинке, не замечая этого, перепрыгивая через ручьи, не ощущая их под ногами и крича доильщику «доброе утро!», не видя его. Как же классно бежать вот так, совсем одному, когда ни одна живая душа не достает тебя, не поучает и не нашептывает, что можно взять вон тот магазинчик, зайдя с черного хода на соседней улице. Иногда мне кажется, что я никогда не был так свободен, как в эти пару часов, когда я выбегаю из ворот на тропинку и сворачиваю у толстого дуба с голыми ветвями в конце дорожки. Все мертво, но это хорошо, потому что все умерло, прежде чем родиться, а не отжив свое. Вот так мне кажется. К тому же сначала я часто чувствую, что промерз насквозь. Я не чувствую ни рук, ни ног, ни тела, словно я — какой-то призрак, не знающий, что у него под ногами земля, если бы время от времени ее смутные очертания не проглядывали из тумана. И даже если кто-то и называет этот холод пыткой, когда пишет об этом мамаше, я так не считаю, потому что знаю, что через полчаса я согреюсь. К тому времени я добегаю до главной дороги и у

автобусной остановки сверну на тропку в пшеничном поле, разогреюсь, как печка, и сделаюсь развеселым, как собака, которой к хвосту консервную банку привязали.

Жизнь — хорошая штука, говорю я себе, если не поддаваться всем этим легавым, начальству колонии и прочим «правильным» уродам. Раз-два-три. Пуф-пуф-пуф. Шлеп-шлеп-шлеп ногами по твердой земле. Вжик-вжик-вжик руками и боками по голым ветвям кустов. Сейчас мне семнадцать, и когда меня отсюда выпустят — если я сам не слиняю или все не повернется как-то по-другому, — они постараются упечь меня в армию. А какая разница между армией и заведением, где я сейчас сижу? Эти уроды меня не проведут. Я видел казармы рядом со своим домом, и если бы снаружи не стояли часовые с винтовками, то их высокие стены не отличались бы от стен нашей колонии. И что с того, что эти сапоги пару раз в неделю выходят выпить пивка? Разве меня не выпускают три раза в неделю бегать по два часа? А это куда лучше, чем бухать. Когда мне в самый первый раз сказали, что бегать я буду один, без надзирателя рядом, крутящего педали, я прямо не поверил. Они называют заведение современным и прогрессивным учреждением, но меня-то не проведешь. Я-то знаю по рассказам других, что это такая же колония, разве что меня и выпускают одного побегать. Колония есть колония, что бы они ни делали. Сначала я ныл, что нельзя меня посылать бегать пять миль вот так на пустое брюхо, пока они

не убедили меня, что это не так уж и плохо (я это и без них знал). Пока мне не сказали, что я — хороший спортсмен, и не похлопали по плечу, когда я сказал, что не ударю лицом в грязь и попытаюсь выиграть для них синюю призовую ленту и всеанглийский кубок по бегу на длинные дистанции среди исправительных учреждений для несовершеннолетних. И вот теперь начальник колонии, когда делает обход, говорит со мной почти так же, как говорил бы со скаковым жеребцом, если бы тот у него был.

— Все нормально, Смит? — спрашивает он.

— Да, сэр, — отвечаю я.

Он подкручивает седые усы.

— Как тренировки?

— Я решил бегать после ужина, чтобы держать форму, сэр, — говорю я ему.

Пучеглазый пузатый урод явно доволен.

— Отлично. Я знаю, что ты выиграешь нам кубок, — надувается он.

А я еле слышно добавляю:

— Разбежался, ждите.

Нет, не стану я этого делать, хотя этот тупой уса-тый урод и возлагает на меня все свои надежды. «А что значат его идиотские надежды?» — спрашиваю я себя. Раз-два-три, шлеп-шлеп-шлеп, через ручей и в лес, где темно и обледенелые ветки царапают мне ноги. Для меня это ни черта не значит, а для него это значит ровно столько же, сколько значило бы для меня, если бы я стащил список забегов и поставил на лошадь,

Одиночество бегуна на длинные дистанции

которую не знаю, никогда не видел, а если бы и увидел, то наплевал бы. Вот что это для него значит. И я проиграю забег, потому что я им не скаковая лошадь, и скажу ему, когда мне подойдет время выходить, если не слиняю еще до забега. Ей-богу, скажу. Я человек, и у меня есть свои мысли, свои тайны и своя жизнь, а он об этом ни черта не знает и никогда не узнает, потому что он тупой. Может, вам смешно, когда я говорю, что начальник колонии — тупой урод, хотя сам я еле-еле умею писать, а он читает, пишет и умножает-делит, как профессор какой-то. Но то, что я говорю — чистая правда. Он тупой, а я нет, потому что вижу его почти насквозь, а он меня насквозь не видит. Ну ладно, мы оба умеем врать, но я вру лучше, и, в конце концов, победителем выйду я, даже если и подохну в тюрьме в восемьдесят лет, потому что из своей жизни я выжму больше радостей и кайфа, чем он из своей. Похоже, он прочитал тысячу книжек и, сдается мне, сам написал несколько штук, но знаю точно, что накарябанное мной в миллион раз лучше, чем все, что он сможет накарябать. Мне плевать на чьи-то слова, но это правда, и ее нельзя отрицать. Когда он мне что-то говорит, а я гляжу на его сержантскую харю, я знаю, что он мертвый, а я живой. Он — живой труп. Пробеги он с десятков метров, так и рухнул бы замертво. Узнай он чуток из того, что у меня в башке, тоже рухнул бы замертво. От удивления. Сейчас эти ходячие мертвецы вроде него держат в кулаке ребят вроде меня, и бьюсь об заклад, что так будет всегда. Но даже если

и так, ей-богу, я лучше останусь таким, какой есть: вечно в бегах и вламывающимся в магазины, чтобы стянуть пачку курева и банку варенья, чем держать кого-то мертвой хваткой и помереть самому. Может, как только хватаешь кого-то за горло, то и вправду помираешь. Честное слово, чтобы додуматься до этого, мне пришлось пробежать несколько сот миль. Я бы никогда до этого не дошел, если бы мог вытащить из своего заднего кармана купюру в миллион фунтов. Вы же знаете, что это правда, и если хорошенько подумать, поймете, что это всегда было и будет правдой. И я все больше убеждаюсь в этом всякий раз, когда вижу, как начальник открывает дверь и говорит «Доброе-утро-ребята».

Когда я бегу и вижу в воздухе пар от собственного дыхания, словно в меня вставили с десяток сигарет, я снова думаю о той маленькой речи, что толкнул мне начальник, когда я только здесь появился. Честность. Будь честным. Я как-то утром так смеялся, что опоздал на десять минут, потому что пришлось остановиться и подождать, пока не уймется боль в боку. Начальник так разволновался, что когда я прибежал позже обычного, он послал меня к врачу сделать рентген и проверить сердце. Будь честным. Это то же самое, что сказать: будь мертвым, как я, и тогда можно безболезненно отправляться из позорной халупы в колонию для малолеток или в тюрьму. Будь честным и привыкай тянуть ляжку за шесть фунтов в неделю. Ну вот, за все то время, что я тут бегаю, я так и не смог взять в толк,

Одиночество бегуна на длинные дистанции

что же он имеет в виду, хотя до меня это начинает понемногу доходить — и смысл мне совсем не нравится. Потому что после всех своих раздумий я понял, что это добавляется к чему-то, что ко мне не относится, ведь я родился и вырос в каком-то другом мире. Потому что люди вроде начальника колонии никогда не поймут еще одну штуку: я честен, и всегда был таким, и всегда таким останусь. Смешно, да? Но это правда, потому как я знаю, что значит «честность» в моем понимании, а он знает лишь, что это значит в его. Я считаю свою честность единственно правильной в мире, а он считает единственно верной свою честность. Вот поэтому этот грязный особнячок и обнесли стенами и заборами, чтобы гноить там ребят вроде меня. Будь я главным, я бы не заморачивался, чтобы построить дом вроде этого и упрятать туда всех легавых, начальников, шикарных шлюх, конторских крыс, офицеров и членов парламента. Нет, я поставил бы их к стенке и расстрелял к чертовой матери, как они много лет назад поступали с парнями вроде меня. То есть они не узнали, что значит быть честным, и никогда не узнают. И слава богу.

Я почти полтора года просидел в колонии для несовершеннолетних до того, как подумал оттуда слинять. Не могу вам подробно рассказать, как она выглядела, потому что не мастер я описывать всякие дома и считать, сколько в комнате стульев-развалюх и окошек с гнилыми рамами. Но и жаловаться мне тоже грех, потому что, сказать по правде, в колонии